

Александр Иванович Куприн

Воробей



Александр Иванович Куприн

Воробей

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2471905

Аннотация

«Панихида кончилась. Последний стройный и печальный аккорд «вечной памяти» растаял в мягком воздухе. Четверо факельщиков с красными опухшими лицами, в засаленных мантиях подошли к белому глазетовому гробу и начали суетливо обвязывать его веревками...»

Александр Иванович Куприн Воробей

Панихида кончилась. Последний стройный и печальный аккорд «вечной памяти» растаял в мягком воздухе. Четверо факельщиков с красными опухшими лицами, в засаленных мантиях подошли к белому глазетовому гробу и начали суетливо обвязывать его веревками.

Присутствующие молча глядели на их сосредоточенную и молчаливую работу, изредка прерываемую замечаниями, произносимыми отрывисто и вполголоса:

– Заходите с той стороны. Вот так. Легче, легче... Тяни конец на себя... ну, разом. Навались!

Веревки вытягивались и скрипели от тяжести дубового гроба. Факельщики с преувеличенно напряженными лицами топтались вокруг зияющей ямы, сырой, глубокой и страшной. Блестящий белый гроб медленно опускался в могилу, исчезая постепенно из глаз...

Потом факельщики выпростили веревки и отошли в сторону... Священник взял заступ и бросил в могилу груды земли, которая глухо и грузно ударилась об крышку гроба... Присутствующие с боязливым любопытством приблизились и заглянули в страшную яму... Каждый взял в руки по гор-

сточке земли и бросил в могилу. Женщины тихо и прилично плакали, закрыв глаза кружевными платками.

В стороне, шагах в пяти от могилы, стоял господин средних лет в трауре с длинными седеющими волосами... Ни во время панихиды, ни во время тяжелой сцены засыпания могилы он ни разу не шевельнулся, не приподнял низко опущенной головы...

При взгляде на него казалось, что он об чем-то глубоко задумался или старается припомнить что-то забытое и очень важное... Но странное производили впечатление эти глаза, неподвижно устремленные в одну точку и ничего не видящие, эта глубокая, суровая складка, неожиданно за две ночи прорезавшаяся между бровями... По той любопытной и осторожной внимательности, с какой приглашенные на похороны относились к господину в трауре, можно было заключить, что после покойницы в белом глазетовом гробу он является вторым лицом в мрачной церемонии погребения.

– Это что ж? Брат, что ли, ейный или муж? – слышалось в толпе зрителей, больше всего, конечно, женщин, собравшихся на кладбище благодаря празднику и светлому весеннему дню.

– Муж, сказывают. Очень уж он покойницу любил. Душа в душу, говорят, жили...

– Ишь ты... Чего же он стоит, словно идол какой бесчувственный?.. Хоть бы поголосил маленько... А то стал и стоит...

– Много ты понимаешь... Видишь, окостенел человек... Он теперь, значит, вроде как спит... Ты ему хоть из пушки стреляй – не услышит...

– Тес!.. Скажите...

А господин в трауре действительно окостенел... Все привычки обыденной жизни не утратили, по-видимому, над ним своей давнишней силы... Всю эту ужасную неделю он с прежней методической аккуратностью исполнял тысячи давно заведенных жизненных мелочей... Но в его душе, в его нравственной жизни произошло какое-то странное оскудение, точно в сложном механизме, где целы и хорошо действуют все части и пружины и только одно самое главное колесо отказывается вертеться, потому что у него стерлись зубцы... Он ясно помнил тот ужасный момент, когда она сидела в глубоком кресле, вся обложенная подушками, а он стоял, нагнувшись над ней, и нажимал большой гуттаперчевый мешок с кислородом. В комнате пахло едким запахом какой-то красной микстуры и еще чем-то тяжелым и ужасным, чему он избегал дать настоящее название. При каждом дыхании ее голова то поднималась, то опять падала на грудь, глаза с неестественно громадными зрачками, влажные и блестящие, блуждали бессмысленно и в то же время тоскливо... Порой она вся вздрагивала, телом и руками, точно подстреленная насмерть птица...

А затем? Затем именно и наступило то состояние, когда в его душе что-то окаменело и перестало действовать. Если бы

его спросили: «Что с вашей женой?» – он отвечал бы: «Она была больна чахоткой, умерла, и теперь ее хоронят». Но сам он, в глубине своей души, не только не верил тому, что жена умерла, – он отлично знал, что она жива. В то же время он что-то важное позабыл, и благодаря этому пропала внутренняя связь между ним и тем, что вокруг него делалось.

Маня лежала на столе в белом платье со строгим лицом, точно из матового воска, а над ней стоял незнакомый мужчина в коричневом пальто с оборванными кантиками на рукавах и что-то быстро в нос читал, растягивая и повышая на полтона концы фраз. «Что он читает? – начинал туго, с ощущением боли в голове, соображать Барсов. – Что он читает? „Умяхнуща словесо их паче елея и ти суть стрелы“. Ах да, псалтырь! Псалтырь – это ведь над покойниками читают, а у нас в гимназической церкви читали за всенощной гимназисты... Еще слова там такие попадают хорошие... Да, да, псалтырь... Какую же он связь со мной имеет? Ах, какую же связь, какую?» – твердил мысленно, мучаясь и напрягая всю силу памяти. Но связь ускользала, а внимание Барсова опять привлекали новые предметы, и опять начинали одна за другую цепляться странные, мелочные, тяжелые, как кошмар, мысли... Потом ее положили в гроб и пели панихиду сначала дома, а затем в церкви... Запах можжевельника и ладана... в руках у всех свечи, и у него в руках свеча. Но он не понимает значения этого торжественного пения, не понимает этих великих слов, обещающих праведникам обитель, «иде

сюда...

«А! Это они про весну, – подумал Барсов. – „Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви...“ А как дальше... Ну, будто не все равно... А хорошо было весной в Кунцеве. Когда это? Год, два, да, два года тому назад, когда я был еще Маниным женихом».

И Барсову вспомнилось ярко это блаженное время. Они пошли втроем в рощу: она, он и ее маленький брат, кадет, который относился к Барсову с тем чувством обожания, с которым относятся мальчики лет десяти – пятнадцати к сильным и самостоятельным мужчинам. Они долго собирали фиалки, бледно-голубенькие такие и ароматные. Потом им обоим, ей и ему, захотелось остаться одним. То есть они об этом не сказали ни слова, но он чувствовал. Кадету сказали, что на опушке много цветов, что он их очень удачно ищет и что они его подождут здесь. Мальчику очень не хотелось уходить. Он, должно быть, понял, что его присутствие мешает, но в то же время он был счастлив, что имел возможность доставить удовольствие предмету своего обожания... Он набрал громадный букет и все-таки пришел слишком рано и все-таки застал их целующимися, отчего все трое сконфузились.

«...Да, да, фиалки, – думал Барсов, – почему фиалки? Как я пришел к фиалкам? Ах да, я начал думать про весну... А раньше? Кажется, я раньше думал об этом в церкви... Я думал о том, что мухи уже оживают, значит, наступила весна, и

скоро будет лето. Но зачем, зачем я думал о мухах? Смешной вопрос и совсем не подходящий ни к месту, ни к времени».

Суровая складка глубже легла между его бровями. Тягучие ненужные мысли опять начали лениво цепляться одна за другую. Наконец он вспомнил. Это было сегодня же утром в церкви. Он стоял и глядел машинально на строгое восковое лицо лежащей в гробу знакомой, дорогой и в то же время чуждой женщины... А по ее спокойному лбу в это время ползла муха... Запыленная такая, маленькая, вялая – должно быть, она только что ожила после зимнего сна... И первый раз за эту длинную, как вечность, неделю Барсов испытал на мгновение одно яркое ощущение – ощущение страшного, леденящего ужаса, в котором он ни тогда, ни теперь не мог дать себе отчета.

Могильщики между тем совершенно окончили дело и отошли в сторону. Один из них провел ребром заступа крест на убитой поверхности могильного холмика. Все присутствовавшие с самого утра при погребении, утомленные телом и нервами, сидели молча на ближайших плитах и скамеечках. Наступил момент грустного и томительного затишья. Мужчины один за другим перекрестились и надели шляпы. Только один Барсов все так же неподвижно стоял, опустив голову и устремив в одну точку невидящие глаза.

Священник снял свою черную ризу и епитрахиль, надетые поверх теплого пальто, и, выпрастывая сзади из-под воротника волосы, подошел к Барсову. Он считал своим долгом

сказать несколько утешительных слов, и хотя не знал, что именно скажет, но надеялся на тот запас общих фраз, который у него накопился многолетним опытом.

– Ну что? – сказал священник, взяв Барсова за руку и стараясь заглянуть ему в глаза. – Все это воля господа. Не ропщите. Самый великий грех – ропот на волю создателя. Думайте о том, что ей лучше там, – и он показал указательным пальцем на голубое радостное небо, – там, в месте значном, в месте покойном. Это вас утешит. Правда, что многие из теперешних интеллигентных людей своим критическим умом дерзают отрицать божественный промысел... Но и они, – священник при этом глубоко вздохнул, – но и они должны знать, что все мы бранные гости в земной юдоли... Все мы смертны. Так-то...

– Да, да, Serge, батюшка правду говорит, – вмешалась дама в плерезах, подвижная и маленькая, с энергичным заплаканным лицом. – Если она умерла, то уж судьба так сделала, этого, значит, нельзя было избежать. Ну, тяжело тебе, ну, я понимаю, ну, поплачь немного. Слезы всегда облегчают. Ты не думай, что мужчине совестно плакать. Ты погляди на меня, Serge. Ведь Маня моя сестра, мне ведь тоже очень тяжело... Однако я не отчаиваюсь, я не теряю рассудка. Посмотри на меня, я женщина, и все-таки тверда. А ведь ты мужчина! Я...

Барсов неожиданно повернул к ней голову и с трудом раскрыл спекшиеся губы.

– Благодарю, благодарю вас, – прохрипел он, – но только... только... почему же муха? Почему, я вас спрашиваю?

И батюшка и дама в плерезах отступили от Барсова на два шага. Все присутствующие с тревогой на него поглядели. Казалось, что вот-вот этот окаменевший человек обернется к ним и разразится безумным хохотом.

А он уже позабыл и о батюшке, и о *belle-soeur*¹, и о своих словах. Он опять возвратился упорною мыслью к мучившей его связи между ним и внешними событиями. Лицо его все более и более принимало выражение мучительного напряжения. Муха, которая так вяло ползла по восковому лбу жены, особенно болезненно не поддавалась его мышлению. Минутами ему казалось, что он начинает понимать, но мысли опять рассеялись, и опять лезли в голову ненужные и пустые мелочи.

Сидящие на могилах с тревогой глядели на неподвижного, застывшего в одном положении Барсова. Несколько мгновений длилась тяжелая, мертвая тишина. Введенный ею в обман худой, общипанный, но бойкий воробей скатился откуда-то с верхушки тополя, уселся на могиле и тотчас же испугался. Он повернул свою маленькую головку налево, направо, вверх и вдруг, весь взъерошившись, блестя кругленькими черными глазками, широко раскрыл рот и закричал что-то – громко и с отчаяньем испуга...

И столько в его фигуре, движениях и голосе было жизни и

¹ свояченице – фр.

молодого задора, что Барсов неожиданно понял все, и неуловимая связь между ним и миром мгновенно восстала со всей своей ужасающей правдой. Он понял и церковь, и белый газетовый гроб, и могилу, и запыленную муху, которая ползла по спокойному лицу, не дрогнувшему ни одним мускулом...

«Смерть, смерть, смерть», – вихрем пронеслось у него ярко и выпукло в сознании, и он, внезапно закрыв лицо руками, с криком горя упал на свежую землю могилы, обливаясь жаркими слезами.